

## СЫН ДОКТОРА СТОКМАНА\*

## I

Я, к сожалению, не могу читать Гамсуна в подлиннике. А перевод, имеющийся у меня под руками, не безупречен. Переводчик, г. Я. Данилин, точно иностранец, хорошо овладевший русским языком, но не усвоивший всех его тонкостей. У него попадаются выражения вроде: «ты ведь не обидишься, если я тебе что-нибудь скажу?» (стр. 56). Между тем по ходу действия очевидно, что лицо, произносящее эту фразу (Иервен), хочет сказать не «что-нибудь», а нечто весьма определенное: «тебе нужны деньги», говорит он и т. д. Поэтому надо было переводить не «что-нибудь скажу», а — «что-то скажу». Это большая разница. Да и само действующее лицо, употребляющее благодаря переводчику указанное мною неправильное выражение, называется, если я не ошибаюсь, неправильно: его имя следовало бы писать не «Иервен», а просто «Ервен». Наше «е» есть иотированное «е» языков Западной Европы. Подобно этому у нас неправильно пишут *Иекк* (немецкий автор истории Интернационала), а не *Екк*. Другое действующее лицо драмы (журналист Бондezen) восклицает: «Ради бога, только не теперь. Только не теперь. Потому что тогда я не сумею больше с вами говорить» (стр. 59). Но опять-таки очевидно, что Бондezen боится не того, что он не сумеет, т. е. лишится умения говорить, а того, что он лишен будет возможности воспользоваться своим уменьем. Таким же языком выражается и главное действующее лицо пьесы (писатель Ивар Карено).

\* Гамсун Кнут. «У царских врат», пьеса в 4-х действиях, перевод Я. Данилина, Москва, книгоиздательство «Заря».

У него выходит (т. е. выходит в переводе г. Данилина), что если осень будет теплая, то он «сумеет работать в саду» (стр. 81). Но и тут ясно, что холодная осень лишила бы Карено не *уменья* работать в саду, а только *возможности* воспользоваться этим уменьем. Это, конечно, мелочи. Но это очень досадные мелочи. Зачем портить наш могучий и богатый русский язык неуклюжими провинциализмами? Кроме того, в пьесе немало опечаток. Это тоже мелочь, и тоже очень досадная мелочь.

Существует, кажется, другой перевод той же пьесы, но у меня его нет. Поэтому воспользуюсь переводом г. Я. Данилина.

В пьесе Гамсуна, собственно, две драмы: одна — частного, другая — общественного характера. Одна написана на очень старую, но вечно новую тему; для другой взята тема совсем новая, но от этой новой темы веет бессильным старчеством, подлинным декадентством. В первой обнаруживается свойственный Гамсуну большой художественный талант; вторая производит комическое впечатление, несмотря на старание автора придать действию трагический характер. Короче, первая драма удалась автору, вторая же должна быть признана до последней степени неудачной.

Я не буду долго останавливаться на первой, т. е. на удачной драме. Я уже сказал, что ее тема очень стара, хотя и остается вечно новой. Молодая, неразвитая и, может быть даже ограниченная, но, во всяком случае, морально вполне здоровая женщина, фру Элина Карено, любит своего мужа, кандидата философии Ивара Карено, который платит ей не то что полным равнодушием, а очень обидным и мучительным для нее невниманием. В глубине души у него есть любовь к ней, но ему некогда заниматься любовью. Он пишет сочинение, которое, как он думает, нанесет жестокий удар очень многим и очень вредным предрассудкам. И он целиком ушел в свою работу. Фру Карено жалуется Бондезену: «Он не думает обо мне, он не думает и о себе тоже, а только о своей работе. Так уж целых три года. Но он говорит, что три года — это пустяки, даже и десять лет, по его мнению, недолгий срок. Я и подумала, если он так себя ведет, значит он меня больше не любит. Я его никогда не вижу; ночью он сидит за своим столом и работает до рассвета. Все это так ужасно! У меня все перепуталось в голове» (стр. 76). И у нее в голове действительно все пере-

путалось. На каждом шагу обижаемая невниманием мужа, она теряется в догадках насчет причин этого невнимания и делается некстати ревнивой. Она ревнует мужа не только к своей служанке Ингеборг, которую он по необходимости видит часто, но и к невесте его товарища Иервена, фрёкен Натали Ховинд, с которой он встречается в первый раз в жизни и которая обменивается с ним несколькими совершенно незначительными фразами. Наконец, бедная фру Карено начинает хитрить. Она хочет возбудить ревность своего мужа и для этого кокетничает с журналистом Бондезеном. Но Карено даже не замечает ее проделки. Тогда она усиливает дозу кокетства и... попадает в свою собственную сеть: влюбляется в ничтожного и вульгарного Бондезена. Карено открывает глаза на поведение своей жены только тогда, когда положение становится непоправимым. Тут он сам делает несколько попыток спастись от нависшего над ним несчастья, но это ни к чему не ведет. Жена уезжает от него к своим родителям в сопровождении Бондзена, и этим заканчивается первая драма.

Я сказал, что в этой драме обнаруживается свойственный Гамсуну большой художественный талант. В подтверждение этого моего отзыва достаточно указать на ту тонкость, с которой очерчены душевные движения фру Карено. Характер этой несчастной женщины — в полном смысле слова мастерское создание. Не хуже ее изображен и увлекший ее Бондзена. Немногими чертами Гамсун чрезвычайно рельефно изобразил беспринципного писаку, готового продавать себя по столько-то за газетную строчку. Да что Бондзена! Что фру Карено! Ремесленник, набивающий чучела птиц, — совершенно эпизодическое лицо в пьесе, а между тем и он представляет собою пластический образ. Словом, первая драма как нельзя лучше подтверждает старое правило: дело мастера бонится.

Почему же не подтверждает его вторая драма? Разве она вышла не из-под пера того же выдающегося мастера?

Чтобы ответить на это, нужно познакомиться с писателем Иваром Карено, который является главным действующим лицом второй драмы, подобно тому как его жена играет главную роль в первой.

Я сказал, что он пишет книгу, имеющую, по его мнению, огромную важность. Я выразился недостаточно сильно. Сам Карено выражается несравненно сильнее. Вот пример: «Сегодня ночью, когда я писал, — говорит он своей жене в 3-м

действии, — мысли толпились у меня в мозгу. Ты этому не поверишь, но я разрешил все вопросы, я постиг бытие, я почувствовал прилив великих сил» (стр. 70). Для разрешения «всех вопросов» в самом деле нужны великие силы. Но в каком же направлении разрешает все вопросы Ивар Карено? Он не всегда достаточно ясно выражается на этот счет. Вот пример. Сообщив своей жене о том, что ему удалось постичь бытие, он прибавляет: «Мне казалось ночью, что я один-одинок на земле. Между людьми и внешним миром стоит стена; но теперь эта стена стала тонкой, и я попытаюсь сломать ее, высунуть голову и поглядеть» (стр. 70—71). Это очень туманно. Странно притом, что человек, уже разрешивший все вопросы, все-таки считает нужным ломать стену, высовывать голову и глядеть. Зачем это? Когда все вопросы разрешены, тогда «глядеть» уже не на что и тогда можно отдохнуть. Но в том же разговоре Карено со своею женою есть более определенный намек на его взгляды. Карено называет себя человеком, который стучится к людям «со своими свободными, как птица, мыслями»<sup>1</sup>. Выходит, что, разломав стену и высунув голову, наш герой видит идеал свободы. Это уже не так туманно. Но все-таки свободу можно понимать различно. Каково содержание свободных мыслей Ивара Карено? О нем дает очень ясное понятие следующая длинная тирада:

«Смотри, — говорит он жене, развертывая перед нею свою рукопись, — все это о господстве большинства, и я ниспровергаю его. Это — учение для англичан, пишу я, евангелие, которое предлагается на рынке, проповедуется на лондонских доках, о том, как привести посредственность к власти и праву. Вот это — о сопротивлении, это — о ненависти, это — о мести, этические силы, которые теперь в упадке. Обо всем этом я писал. Нет, послушай немного внимательнее, Элина, и ты поймешь. Это — вопрос о вечном мире. Все находят, что вечный мир был бы прекрасною вещью, а я говорю, что это учение, достойное телячьего мозга, который его выдумал. Да. Я осмеиваю вечный мир из-за его наглого пренебрежения к гордости. Пусть явится война, нечего заботиться о том, чтобы сохранить столько-то и столько-то жизней: источник жизни бездонен и неистощим; важно только, чтобы люди бодро шли вперед. Смотри, вот это — главная статья о либерализме. Я не щаю либерализма, я нападаю на него от глубины души. Но этого не понимают. Англичане и профессор Гиллинг — это ли-

бералы, а я не либерал, и одно только это и понимают. Я не верю в либерализм, я не верю в выборы, я не верю в народное представительство. Все это я здесь и высказал (*читает*): «Этот либерализм, который ввел снова старый, неестественный обман, будто толпа людей в два аршина вышиной может сама выбрать себе вождя в три аршина вышиной...» Ты сама понимаешь; так постоянно происходит... Смотри! Вот это заключение. Здесь, на этих развалинах, я возвел новое здание, гордый замок, Элина. Я сам отомстил за себя. Я верю в прирожденного властелина, в деспота по природе, в повелителя, в того, кто не выбирается, но сам становится вождем кочующих орд этой земли. Я верю и надеюсь только на одно — на возвращение величайшего террориста, квинтэссенции человека, Цезаря...» (стр. 106—107).

Мы скоро увидим, чего хочет профессор Гиллинг, против которого ополчается Карено. Теперь же заметим, что «свободные мысли» нашего героя сводятся к борьбе против власти большинства. Это — основной мотив его сочинения. И в этом смысле он — родной сын ибсеновского доктора Стокмана. Но его образ мыслей гораздо более конкретен, нежели образ мыслей доброго доктора. Начать с того, что Стокман говорит о большинстве, собственно, по недоразумению, так как его борьба на самом деле ведется против меньшинства (т. е. акционерной компании, эксплуатирующей тот курорт, в котором он состоит врачом) в интересах большинства (т. е. больных, приезжающих и могущих приехать в курорт). И его рассуждения достигают своей кульминационной точки там, где он доказывает, что всякая истина должна со временем состариться и уступить свое место другой, новой истине\*. Правда, доказывая это «с помощью естествознания», он делает несколько очень неудачных экскурсий в область общественных отношений\*\*.

\* Доктор Стокман. «Да, да, хотите — верьте, хотите — нет. Но истины вовсе не такие живучие Мафусаилы, как люди воображают. Нормальная истина живет, скажем, ну, лет семнадцать — восемнадцать, самое большое — двадцать. Но такие пожилые истины всегда ужасно художочны. И все-таки большинство именно тогда только и начинает заниматься ими и рекомендовать их обществу в качестве здоровой духовной пищи. Но такая пища мало питательна, могу вас уверить; как врач, я в этом знаю толк. Все эти истины, признанные большинством, похожи на прошлогоднее копченое мясо, на прогорклые, испорченные, заплеванные око-рока. От них и делается иррациональная цинга, свирепствующая повсюду в общественной жизни». *Ибсен Генрик*, Враг народа. Сочинения, т. V, с. 402<sup>2</sup>.

\*\* «Представьте себе сначала простую дворнягу, т. е. паршивого, ободранного, лохматого мужицкого пса, который только рыщет по улицам да пакостит сте-

Но эти неудачные экскурсии остаются только экскурсиями. Не ими определяется практическая программа доктора Стокмана. Да и не видно у него такой программы. А вот его сын, Ивар Карено, говорит о борьбе с большинством уже не по недоразумению, а в силу продуманного убеждения. И у него есть определенная практическая программа. Он не только «не верит в либерализм» и не только не шадит его; он не верит также в выборы, не верит в народное представительство и не хочет их. Он «верит» в *деспотизм*, он хочет возвращения величайшего террориста, который представляется ему квинтэссенцией человека. Видите, какой «свободы» хочет наш герой? Свободы деспота. Разломав стену и высунув голову, он увидел предстоящее возвращение «величайшего террориста», подчиняющего большинство своей железной воле. И для того, чтобы облегчить его возвращение, он ведет соответствующую нравственную проповедь. Он проповедует «ненависть», «месть» и «гордость» — не ту гордость, которая не позволяет человеку быть рабом, а ту, которая выражается в стремлении иметь рабов или, по крайней мере, содействовать тому, чтобы в таковых не было недостатка у «величайшего террориста» и «деспота». Не удивительно поэтому, что добрый Карено называет идею мира «учением, достойным телячьего мозга, который его выдумал». Стоит ли заботиться о том, чтобы «сохранить столько-то и столько-то жизнью!» «Важно только то, чтобы люди бодро шли вперед», т. е., очевидно, не отказывались идти на убой, когда «величайший террорист» и «деспот» найдет нужным предпринять кровопускание. Все это кажется достаточно определенным. Однако неопределенность не совсем еще отсутствует в этой тираде. В ее первых строках большинство называется, как мы видели, *посредственностью*, и это выражение все еще сообщает речи Ивара Карено привкус того беспредметного идеализма, которым были насквозь пропитаны речи его отца, доктора Стокмана. В других местах этот привкус совсем пропадает. В статье, по поводу которой у него происходит интересный разговор с профессором Гиллингом, он осуждает как целе-

ны домов. И поставьте этого пса рядом с пуделем, длинный ряд предков которого воспитывался в аристократических домах, где они получали тонкую отборную пищу и имели случай слышать гармоничные голоса и музыку. Или, по-вашему, череп пуделя не совсем иначе развит, нежели череп простого пса? Уж будьте уверены». (Там же, с. 405)<sup>3</sup>. Это один из ярких примеров того вздора, который говорится доктором Стокманом «с помощью естествознания».

пость «современное гуманное обращение с рабочими» и пишет: «Рабочие только что перестали быть растительной силой, и их положение в качестве необходимого класса уничтожено... Когда они были рабами, у них была своя функция: они работали. Теперь же вместо них работают машины при помощи пара, электричества, воды и ветра. Рабочие вследствие этого становятся все более излишним классом на земле. Раб стал рабочим, а рабочий паразитом, который отныне живет на свете без всякого назначения. И этих людей, потерявших даже положение необходимых членов общества, государство стремится возвысить в политическую партию. Господа, говорящие о гуманности, вы не должны ласкать рабочих; вы должны, скорее, охранять нас от их существования, помешать им усиливаться, вы должны истребить их» (стр. 21).

Истребить рабочих! Таков тот определенный вид, который принимает у Ивара Карено наследованная им от своего отца, доктора Стокмана, и всяема неопределенная прежде задача борьбы с «большинством». Для решения этой вполне определенной (я не сказал: *разрешимой*) задачи Карено начинает вырабатывать даже то, что называется у социалистов программой-минимум. Правда, в эту программу он вписал пока только один пункт, но зато этот пункт как нельзя более характерен. Карено рекомендует высокие хлебные пошлины, чтобы оградить крестьянина, который должен жить, и заставить умереть с голоду рабочего, который должен погибнуть<sup>4</sup>. От этой практической программы уже и не пахнет беспредметным идеализмом; напротив, она проникнута духом своеобразного «экономического материализма». И она не оставляет уж ровно никакого сомнения насчет содержания «свободных мыслей» Карено: это типичный реакционер.

Доктора Стокмана называли, как известно, врагом народа. Это было несправедливо. Врагом народа д-р Стокман никогда не был, хотя в своей борьбе с тем, что называлось у него большинством, он по своей крайней неловкости и беспомощности в вопросах общественного характера выражался иногда так, как выражаются действительные враги народа: присвоители прибавочного продукта или прибавочной стоимости. Не то с сыном доктора Стокмана, Иваром Карено. Он выражается, как враг народа, вовсе не по недоразумению. Он в самом деле — враг народа, т. е. враг того класса, который играет главную роль в произво-

дительном процессе новейшего общества. «Конечная цель», которую он ставит себе в своей борьбе с пролетариатом, разумеется, нелепа в полном смысле этого слова. «Истребить рабочих» невозможно. Если Карено поставил себе такую цель, то это показывает, что он разбирается в общественных вопросах по меньшей мере так же плохо, как разбирался в них его папенька Стокман. Но нелепая «конечная цель» не мешает ему иметь определенную практическую программу. В политике он реакционер, в экономике — протекционист и притом протекционист опять-таки с сознательной реакционной целью. Он надеется, что протекционизм поможет ему «истребить» пролетария и оградить крестьянина, который, по его словам, должен жить. Он хочет опереться на противоположность интересов крестьянства, с одной стороны, и пролетариата — с другой. Но поскольку крестьянство сознает противоположность своих интересов с интересами пролетариата и поскольку оно руководствуется этим сознанием в своей социально-политической деятельности, постольку оно стремится, по известному выражению знаменитого «Манифеста», повернуть назад колесо истории<sup>5</sup>. И кто эксплуатирует это его стремление ради возвращения «величайшего террориста», тот даже не простой реакционер, а злостный реакционер в квадрате. Таким злостным реакционером, реакционером в квадрате, и выступает перед нами упрямый проповедник «свободных мыслей», Ивар Карено. Нельзя не видеть, как далеко ушел он от своего родителя. Но нельзя также не видеть, что он унаследовал от него наиболее существенные фамильные черты.

## II

Доктор Стокман гремит на том роковом народном собрании, на котором он показывает, что у него очень много доброй воли и очень мало знаний:

«Большинство никогда не бывает право. Никогда, говорю я! Это общественная ложь, одна из тех общепринятых лживых условностей, против которых обязан восставать каждый свободный и мыслящий человек. Из каких людей составляется большинство в стране? Из умных или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное, подавляющее большинство на всем земном шаре».

Эти его слова, как известно, очень нравились анархи-

стам, которые видели в них оправдание бунтарской деятельности «сознательного революционного меньшинства». Но анархисты ошибались. Эти слова доктора Стокмана оправдывали нечто совершенно другое. Посмотрите, в самом деле, какой практический вывод делает из них он сам: «Но правильно ли, черт возьми, чтобы глупые управляли умными? (Шум и крик.) Да! да! Вы можете перекричать меня, но не опровергнуть мои слова. На стороне большинства *сила*, к сожалению, но *не право*. Правы — я и немногие другие единичные личности. *Меньшинство* — всегда право»\*.

Согласятся ли анархисты с тем, что на стороне большинства *сила*, «но не право»? Я думаю, что нет. Дальше. Согласятся ли анархисты с тем, что меньшинство *«всегда»* право? Я думаю, что не согласятся. Иначе им пришлось бы признать, что капиталисты «всегда» правы в своих столкновениях с рабочими. Но если с этим не согласятся — по крайней мере не должны были бы соглашаться, если бы хотели быть логичными, — анархисты, — то с этим согласятся и должны согласиться, во-первых, все те, которые принадлежат к привилегированному меньшинству, а во-вторых, все те, которые стараются оправдать с помощью теории существование такого меньшинства. Наконец, мы уже знаем, что с этим вполне согласен Ивар Карено, мечтающий об «истреблении» рабочих. Но тут возникает вопрос: почему же он соглашается с этим?

Что люди, принадлежащие к привилегированному меньшинству, готовы рукоплескать всем тем, которые оправдывают их привилегированное положение, это понятно без дальнейших пояснений. Но Ивар Карено к привилегированному меньшинству не принадлежит. Он не только не богатый человек; он — бедняк, раздавленный долгами. Пьеса «У царских врат» оканчивается сценой, в которой Карено принимает судебного пристава, явившегося для описи его имущества. И он разорился не потому, что хотел залезть в чужой карман с помощью какой-нибудь спекуляции, а потому, что, будучи всецело поглощен своим сочинением, не имел практической возможности обеспечить себе хлеб насущный. Это не «приобретатель», а полный самоотвержения человек идеи. Почему же он облюбовал идею, враждебную рабочему классу? Он не капиталист, а, как

\* Там же, та же с. \*

любили у нас выражаться когда-то, пролетарий умственного труда. Почему же ум этого пролетария трудится в направлении, противоположном интересам пролетариев *физического* труда? Об этом очень стоит подумать.

Мы не знаем прошлой жизни Ивара Карено. В пьесе «У царских врат» нет на нее ни одного намека. Из нее мы узнаем только, что в жилах Карено «течет кровь маленького, непокорного народа», так как его предок был финн. Но этого, разумеется, мало. Дело не в расе, а в тех условиях общественной и частной жизни, которые привели нашего героя к его человеконенавистничеству. Эти условия нам неизвестны. Карено выступает перед нами как совершенно сложившийся человеконенавистник. Но вот живое лицо, польский поэт Ян Каспрович, который, кстати сказать, сам вышел из народной среды. Каспрович, подобно Ивару Карено, презирает народную массу и обращается к ней, например, с такими любезностями:

«Король в лохмотьях, сидящий на троне, с которого содраны бисер и позолота! Твои глаза горят огнем зависти, похоти искажают твои уста в гнусную пасть. Ты тарачишь страшные глаза василиска или же хитро прикрываешь их притворством, прельщая зверя, который обгагрется кровью под твоими когтями, под твоей тощей рукой!»

А вот еще: «Ты — *враг духа!* Оловянными ступнями ты затоптал те цветы, которые посеяла рука божественного Сеятеля! На поблекшей пустоши ты ставишь страшную для духа тушу тела. Где ты истребил фундаменты прежних святостиц, там вырастает новый храм для тебя. О неизмеримая, о божественная, о святая, о монарх, о король, о первосвященник! Вот великий алтарь, весь покрытый золотом! На нем распучится твоя толстая падаль, первейшее из первых божеств, нянькающее на своих коленях Разврат! Долго ли ты будешь царствовать, ты, кровавый дикий Молох, пожравший мое сердце?..»\*

Когда Пушкин и Лермонтов нападали на «чернь», они чаще всего имели в виду светскую чернь богатых гостиных, одетую в раззолоченные мундиры и получающую богатые доходы. У них слово «чернь» чаще всего служит синонимом слова «свет». А Каспрович, подобно Карено, имеет в виду не «свет», а именно «народ», трудами которого покупаются

\* См. Яцимирский А. И. «Новейшая польская литература», т. II, с. 284, 285.

роскошь и удовольствие «света». Если у «толпы» Каспровича «тощая» рука, то это, очевидно, вследствие лишений. Именно эту, переносящую всевозможные лишения, толпу ненавидит Каспрович; именно ее торжество должно, по его мнению, принести с собой разврат и всякую гнусность. А между тем прежде он относился к ней совершенно иначе. «Прежде ты была моим божеством, толпа», — говорит он в одном своем стихотворении. В молодости он не чужд был некоторым, правда, очень неопределенным социалистическим симпатиям. Почему же утратил он эти симпатии? «Твой желудок уничтожил мою веру, — восклицает он, обращаясь к «толпе», — и теперь моя любовь уже не умеет сгибаться на ступенях твоих алтарей без божества. Теперь, с остатками силы, стал я богохульствовать, и моя слабая рука кромсает твоего истукана, кровавый Молох, который изгрыз мое сердце и, как вампир, высосал дорогой мозг моей души!» (*Яцимирский*. Цит. соч., с. 284).

Вера Каспровича была уничтожена, как говорит он сам, «желудком толпы». Что же это значит? Это значит, что требования этой последней оказались ему слишком грубыми, слишком материалистичными, как выражаются филлистыры всех стран. Каспрович хотел бы, чтобы у людей были возвышенные идеалы. Но он не понимает, что возвышенный идеал может быть тесно связан с определенными экономическими требованиями. У него здесь — экономия, а там — идеал; идеал отделен от экономии целой пропастью, и нет и не может быть моста, соединяющего тот край пропасти, на котором стоит идеал, с тем, на котором находится экономия. Это — наивный, почти ребяческий взгляд, лишенный всякого научного понимания общественной жизни и общественной психологии. Доводы, основанные на таком взгляде, разумеется, совсем неубедительны. Но они весьма характерны как показатели современного настроения целого общественного слоя — тех «пролетариев умственного труда», к числу которых принадлежит, как мы видели, и наш герой Ивар Карено. Слой этот занимает в капиталистическом обществе промежуточное положение между пролетариатом в настоящем смысле этого слова и буржуазией. Хотя из него вышло много людей, оказавших незаменимые услуги пролетариату, но в общем и целом он постоянно колеблется между двумя борющимися сторонами. Сегодня и здесь он больше сочувствует рабочим; завтра и там он склоняется больше на сторону буржуазии. Но как бы ни

было велико его сочувствие рабочим, он никогда не умеет окончательно разделаться с буржуазными предрассудками. Господствующие в среде буржуазии стремления и взгляды всегда имеют на него огромное влияние. Вот почему даже социалистические его симпатии имеют буржуазный характер.

Слой этот чрезвычайно редко идет дальше буржуазного или мелкобуржуазного социализма. А так как буржуазный, равно как и мелкобуржуазный, социализм не способен стать на материалистическую основу, то люди, им зараженные, всегда высокомерно смотрят на «желудочные» требования пролетариата. Требования эти представляются им порождением «зависти». А когда эти люди начинают утрачивать свои, хотя бы и мелкобуржуазные социалистические симпатии, им кажется, что эта психологическая перемена, столь естественная, как мы уже знаем, в их промежуточном положении, совершается в них единственно потому, что грубый «желудок» пролетариата оскорбляет их нежную «веру». И тогда они не находят достаточно слов для выражения своей ненависти к пролетариату; тогда они начинают ждать пришествия сверхчеловеческого «деспота» и т. п. Тут приходится согласиться с Некрасовым в том, что очень становится зол крылья свои опаливший орел<sup>7</sup>.

Когда люди этого разряда снисходят до участия в рабочем движении, они вследствие утопического характера своих идеальных стремлений предъявляют к нему самые несбыточные и самые нелепые требования. И чем нелепее и несбыточнее эти требования, тем скорее разочаровываются эти господа в современном социализме. Эрик Фальк говорит у Шибышевского: «Я не верю в социал-демократическое благополучие. Я не верю также в то, чтобы партия, имеющая в изобилии деньги, основывающая больничные и сберегательные кассы, могла чего-нибудь достигнуть... Я не верю, чтобы партия, думающая о спокойном, рациональном разрешении социального вопроса, могла вообще что-нибудь сделать. Так же мало, как и салонный анархист г. Джон Генрих Макэй... Все они проповедуют мирную революцию, замену разбитого колеса новым, в то время как телега находится в движении. Вся их догматическая постройка идиотски глупа именно потому, что она так логична, ибо она основана на всемогуществе разума. Но до сих пор все происходило не по разуму, а по глупости, по бессмысленной случайности»<sup>8</sup>.

Нет никакой надобности рассматривать здесь, верно ли понимает Фальк «социал-демократическое благополучие» и правильно ли изображает он социал-демократическую тактику. Для моей цели достаточно указать на то, что «догматическая постройка» современной социал-демократии возмущает этого героя именно своей логичностью. Он объявляет ее «идиотски глупой» именно за то, что «она основана на всемогуществе разума», и уверяет, что до сих пор все происходило «по глупости, по бессмысленной случайности». Очень легко себе представить, что его тактика, основанная на «бессмысленных» соображениях, не заслуживала бы ни малейшего упрека ни в «разумности», ни в «логичности». И не менее легко представить себе, что, примкнув к рабочей партии, гг. Фальки, несмотря на буржуазную природу своего социализма, всегда будут тяготеть к тому ее крылу, которое они сочтут «наиболее крайним»: ведь им так ненавистно все то, что хоть издали походит на «мирную революцию»\*. Но так как «крайние» стремления, опирающиеся лишь на «глупость» и на «бессмысленную случайность», имеют все данные для того, чтобы оставаться неосуществленными, то гг. Фальки еще и поэтому должны «разочаровываться» при первом же столкновении с жизнью. «Разочаровавшись», они начинают посылать по адресу «толпы» любезности вроде тех, о которых дают понятие вышеприведенные отрывки из стихотворений Каспровича. Они презирают «большинство» не меньше, чем доктор Стокман. Однако в их нападках на него уже нет и уже не может быть наивности, свойственной нападкам доктора

\* Как это всем известно, значительная часть наших декадентов несколько лет тому назад примкнула к нашему рабочему движению, войдя в ту ее фракцию, которая казалась ей самой «левой»: г. Минский был редактором «Новой жизни»; Бальмонт объявил себя на это время кузнецом, кующим стих на столбах той же газеты, и т. д. Всем известно также, что эти господа внесли в названную фракцию свойственные им буржуазные идеологические предрассудки. Фракция эта до сих пор еще не вполне отделилась ни от «пролетариев» этого калибра, ни от столь характерной для них псевдореволюционной тактики. Но к чести ее надо сказать, что она уже сделала несколько важных шагов в направлении к разрыву с ними. Что касается, собственно, нашего автора, то, как видно из напечатанного в «Речи» (от 1 сентября 1909 г.) фельетона под названием «Отрывок из биографии Кнута Гамсуна», он тоже увлекался «крайним» учением: сочувствовал анархистам. Стало быть, он не составляет исключения из указанного мною общего правила. Кнут Гамсун не всегда был «пролетарием умственного труда». Было время, когда он служил приказчиком (в Гевнике, в Норвегии). Подобное промежуточное общественное положение больше всего способствует политическим и всяким другим колебаниям между буржуазией и пролетариатом.

Стокмана. Они имели случай узнать то, что было неизвестно Стокману, и они поняли, что никому нельзя оставаться равнодушным к современному рабочему движению, а нужно или решительно перейти на его сторону, или столь же решительно восстать против него. Само собой понятно, что в качестве разочарованных они могут сделать только этот последний выбор.

## III

Если после всего сказанного мы вернемся к пьесе «У царских врат», то мы без труда увидим, откуда взялись «свободные мысли» Ивара Карено. Они представляют собою отрицательный идеологический продукт борьбы классов в современном капиталистическом обществе. При этом, разумеется, не следует предполагать, что каждый, отдельно взятый представитель интересующего нас здесь общественного слоя переживает оба указанные фазиса личного развития. Нет, я дал общую схему, далеко не всегда приложимую к каждому отдельному случаю. Так, например, далеко не всегда случается, что человек начинает сочувствием рабочему движению, чтобы кончить презрением и ненавистью к нему. Очень часто и, вероятно, чаще всего современный пролетарий умственного труда не переживает по отношению к пролетариату ни положительных, ни отрицательных сердечных увлечений, а холодно и спокойно усваивает с самой ранней юности все средние ходячие предрассудки буржуазии на его счет. Говоря это, я имею в виду собственно западного пролетария умственного труда. Иногда же бывает, что он сразу проникается отрицательным настроением «разочарованных». Тогда он сразу начинает тем, чем кончил Каспрович: ожесточенными диатрибами<sup>9</sup> по адресу «завистливой» рабочей «толпы». Можно думать, что в лице Ивара Карено Кнут Гамсун выводит перед нами именно одного из таких обличителей современного пролетариата. Во всем, что говорит Карено, нет ни малейшего намека на какие бы то ни было прежние симпатии его к рабочему движению. В своей сознательной жизни он как будто всегда был его страстным ненавистником. Правда, Карено — гражданин такой страны, в которой современная борьба классов не достигла еще значительной степени интенсивности. Но это не изменяет дела по существу. Его страна не застрахована от умственного влияния передовых

капиталистических стран. Притом же почти невероятная нелепость его конечной цели («истребление рабочих») может быть отнесена именно на счет экономической неразвитости его родины. Он думает, что машины будут производить и без рабочих. Эта нелепая утопия не могла бы возникнуть ни в одной из стран, далеко ушедших вперед по пути капиталистического развития и машинного производства: слишком уж очевидно там, что успехи техники не только не суживают роль пролетариата в современном производительном процессе, но, напротив, все больше и больше расширяют ее. Совершенно то же объяснение приходится дать и некоторым другим несообразностям пьесы «У царских врат»: их не было бы, если бы эта — точнее сказать: *подобная* этой — пьеса появилась в литературе одной из более развитых капиталистических стран. В доказательство сошлюсь на отношение профессора Гиллинга к Ивару Карено.

Этот либеральный профессор во что бы то ни стало хочет излечить молодого писателя от его ненависти к рабочим. Сам он стоит на точке зрения современной английской философии («весь мир живет ею и все мыслители в нее верят», говорит он Карено), на точке зрения «Спенсера и Милля — этих обновителей нашей мысли». В духе Спенсера и Милля он и хочет повлиять на Карено, который с своей стороны, выступив в поход против рабочего класса, считает необходимым сокрушить «современную английскую философию». Иервен, бывший товарищ и единомышленник Карено, изменивший своим взглядам вследствие интриг Гиллинга, так характеризует этого последнего:

«Он не особенно занимателен, нет. Нападает на Гегеля, на политику «правых» и учение о святой троице и выступает на защиту женского вопроса, всеобщего избирательного права и Стюарта Милля. Вот он и весь! Либерал в серой шляпе и без грубых ошибок» (стр. 36—37).

Но разве же «либерал в серой шляпе и без грубых ошибок» может считаться в настоящее время выразителем и защитником освободительных стремлений пролетариата? Конечно, нет! А если нет, то почему же Карено и его единомышленники ведут такую жестокую теоретическую борьбу с этим несчастным либералом? Вероятно, потому, что сами еще не знают хорошенько, каких именно мыслителей нужно считать теоретиками современного пролетариата. А такое незнание опять возможно только там, где совре-

менное рабочее движение еще мало развито. Ошибка, делаемая Карено и его единомышленниками под неоспоримым влиянием Кнута Гамсуна, просто-напросто смешна. Но эта смешная ошибка свидетельствует об экономической отсталости той страны, в которой она была сделана.

Далее. «Либерал в серой шляпе и без грубых ошибок» с таким увлечением отстаивает «современную английскую философию» и... современный пролетариат, что не отступает даже перед интригами. Он принимает все меры для того, чтобы не давать хода людям, разделяющим образ мыслей Карено, ни в литературе, ни в университете. Иервен прямо говорит, что профессор Гиллинг помешал бы ему получить звание доктора и стипендию, если бы он не отказался от своих взглядов, тождественных со взглядами Карено. Самого Карено Гиллинг отечески убеждает быть благодарнее. «Философия вовсе не отрицает остроумия,— говорит он,— но что она безусловно запрещает,— это неуместные шутки. Бросьте писать ваши статьи, Карено. Я советую вам подождать с этим и дать созреть и проявиться вашим взглядам. С годами приходит и мудрость» (стр. 19—20). Заметьте, что для либерального профессора мудрость, приходящая с годами, заключается не только в уважении к «современной английской философии», но и в защите интересов рабочего класса. По словам Карено, «наш собственный профессор Гиллинг посвятил много таланта и силы, сражаясь за рабочий вопрос»<sup>10</sup> \*. И, как видно, сам Гиллинг думает, что этому вопросу им посвящено не мало таланта и силы. Приведя ту мысль Карено, что высокие хлебные пошлины нужны для того, чтобы умирить голодом рабочего, «который должен погибнуть», он спрашивает его: «разве вы ничего не читали, что мы все писали по этому вопросу?» (стр. 21). Далее оказывается, что «одним только» Гиллингом по этому вопросу написано «около шести мелких и крупных произведений» (стр. 21). Это тоже в высшей степени характерно. «Либерал в серой шляпе» совсем не одинок в своей защите рабочего класса. Рядом с ним те же интересы защищают многие другие. Кто же эти другие? Профессор Гиллинг говорит кратко — «все мы». Но из хода пьесы видно, что этим «мы» имя легион. К ним принадлежит все, что имеет некоторое значение и влияние в так называемом обществе.

\* Я уже сказал, что г. Я. Данилин плохо перевел эту пьесу. Но мысль Карено здесь все-таки совершенно понятна.

Вот почему Карено думает, что сочинение, в котором он советует «истребить» рабочий класс, будет встречено нападками и бранью. И вот почему книгопродавец побоялся издать это сочинение, когда Карено не захотел переделать его в духе, желательном для профессора Гиллинга. Недаром Гиллинг советовал ему «немножко пересмотреть эту работу».

Словом, пьеса Кнута Гамсуна переносит нас как будто на луну: такой удивительный вид приняли в ней наши земные отношения. Карено думает, что никакое правительство, никакой парламент, никакая газета не пропустят ничего враждебного рабочим. Это — смешное утверждение; но это смешное утверждение становится понятным, если мы поверим тому, что на родине Карено все сколько-нибудь влиятельные члены «общества» страстно и упорно защищают не только «современную английскую философию», но и пролетариат. И не только страстно и упорно. Надо прибавить к этому, что интересы «современной английской философии» и пролетариата защищаются в этом «обществе», как видно, уже с давних пор. Я думаю так потому, что единодушная борьба за интересы рабочих («современную английскую философию» можно, пожалуй, оставить в стороне) изображается у Гамсуна как нечто традиционное в обществе, окружающем Карено, — как нечто такое, для исполнения чего достаточно одной привычки и что в своем влиянии на умы уже приобрело прочность предрассудка. Только потому люди, не сочувствующие этой борьбе, — Карено, Иервен и их немногочисленные единомышленники, — и представляются людьми свободной мысли и радикальными новаторами. Но где же находится эта Аркадия? В воображении Кнута Гамсуна: в современном цивилизованном мире для нее места нет и быть не может. Ведь это же мир капиталистический или становящийся капиталистическим, мир, основанный на эксплуатации производителей обладателями средств производства, — мир более или менее обостренной борьбы классов. В таком мире решительно невозможно та идиллия, на которую так недвусмысленно намекает нам пьеса «У царских врат». Эксплуататоры никогда не отличались заботливостью по отношению к эксплуатируемым. И нужна чрезвычайно богатая фантазия в соединении с полной беззаботностью насчет общественной жизни, чтобы вообразить, будто эксплуататоры, хотя бы они и носили серые шляпы и увлекались «современной английской фило-

софией», могут в своей нежной заботливости об эксплуатируемых дойти до такой крайности, которая заставит их забыть правила нравственности и сделает их интриганми. Людей, обладающих такой богатой фантазией, очень немного.

На всех же остальных эта сторона пьесы Гамсуна должна производить совершенно нехудожественное впечатление выдуманности, несоответствия с правдой. Такое же нехудожественное впечатление должен производить и характер Карено. Заставляя своего героя сообщать нам, что его предок был финн, Гамсун как будто делает попытку сделать вероятным для нас его непокорство. Но вопрос совсем не в непокорстве. Непокорные люди могут быть везде, и для того, чтобы мы поверили в непокорство Карено, нам нет никакой надобности знать, что в его жилах течет кровь «маленького непокорного народа». Вопрос в том, какой характер приняло непокорство Ивара Карено. А этот характер опять производит впечатление чего-то вымышленного, не соответствующего правде.

Мы уже знаем, что Карено исполнен самоотвержения. Если он забывает о своей жене, к которой он на самом деле очень привязан, то это происходит единственно оттого, что он весь поглощен своей идеей. В поле его зрения нет места для людей и предметов, не имеющих прямого отношения к той цели, которую он себе поставил. Вот почему он так запускает свои материальные дела, что ему приходится принимать у себя судебного пристава. И даже тогда, когда суровая проза жизни очень настоятельно напоминает ему о себе, даже тогда, когда он приходит к ясному сознанию крайней затруднительности своего положения, — он не обнаруживает ни малейшей склонности к компромиссу. Напрасно либерал в серой шляпе, профессор Гиллинг, поет пред ним свои песни влюбленной (по прихоти Гамсуна) в пролетариат сирены. Карено остается непоколебимым. Только тогда, когда он открывает измену жены и когда у него является желание вернуть себе ее любовь, он делает попытку вести себя иначе. «Я могу изменить кое-что в моей книге, — говорит он. — Я перерешил. Заключительная глава, о либерализме, вызвала протест профессора Гиллинга. Хорошо, я вычеркну ее, она вовсе не так обязательна. Я вычеркну также кое-какие резкие места. И после этого останется еще большая книга. (Грубо.) Я переделаю книгу» (стр. 113—114). Но он скоро убеждается в полной без-

надежности своей попытки. «Я опять передумал,— кричит он, стоя перед дверью, ведущей в уже опустевшую комнату его жены.— Элина, я этого не мог. Ты можешь говорить, что хочешь. Я не переделаю. Ты слышишь? Я не в состоянии» (стр. 118). Это, поистине, редкая и достойная всякого уважения преданность идее. Но какой идее? Мы уже знаем: идее истребления рабочего класса, идее человеконенавистничества. Карено обнаруживает замечательно хорошее качество, стремясь к замечательно дурной и вдобавок еще к совершенно нелепой цели. И это противоречие больше всего вредит художественному достоинству пьесы. Рёскин очень глубоко замечает: «девушка может петь о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах»<sup>11</sup>. Гамсун как будто задался целью показать, что это не так. Он сделал попытку изобразить в свете идеализации то, что поддается идеализации еще меньше, нежели чувство скряги, потерявшего свои деньги. Неудивительно, что вместо драмы у него получилась тут особого рода слезливая комедия, производящая впечатление колоссальной литературной ошибки.

Я не скажу, чтобы характер, подобный характеру Карено, был совсем немислим. Я легко могу представить себе, что при подходящих обстоятельствах Ницше повел бы себя совершенно так же, как Ивар Карено. Но Ницше был исключением и притом, это необходимо помнить, *патологическим* исключением. Психически больные люди здесь в счет не идут, а что касается здоровых, то они обнаруживают великое самоотвержение лишь под влиянием великих идей. Идея «истребления» пролетариата не может вдохнуть самоотвержение уже по одному тому, что сама она порождена чувством прямо противоположным самоотвержению: доведенным до нелепой крайности эгоизмом эксплуататоров. Да и нет никакой надобности человеконенавистнику в самоотвержении. Чтобы вредить людям, вполне достаточно эгоизма. Это, кажется, очень хорошо понял Пшибышевский. И нельзя не признать, что в характере, например, Эрика Фалька гораздо больше художественной правды, нежели в характере Ивара Карено. Впрочем, эти слова не точно выражают мою мысль. В характере Карено художественная правда совсем отсутствует. Поэтому надо сказать: Пшибышевский понял, что человеконенавистникам достаточно эгоизма, и потому его Эрик Фальк так же правдив в художественном смысле, как лжив в том же смысле Ивар Карено.

Насколько я знаю, наша критика не обратила никакого внимания на указанное мною обстоятельство. Почему это? Или это — тоже знамение времени?

## IV

Этот последний вопрос я ставлю потому, что сама пьеса «У царских врат» должна быть рассматриваема как несомненное знамение нашего времени. Она была бы невозможна в прежнее время, например, в эпоху старого романтизма, с которым романтизм нашей эпохи имеет очень много общего. Вспомните, как писали романтики старого времени. Шелли взывал к своему народу:

Британцы, зачем вы волочите плуг  
Для лордов, что в тесный замкнули вас круг?  
Зачем вы готовите пышные платья  
Тиранам, которые шлют вам проклятья?  
Зачем бережете вы, жалко стенья,  
От первого дня до последнего дня  
Шершней беззастенчивых, пот ваш сосущих,  
Не пот ваш сосущих, а кровь вашу пьющих?  
Зачем вы, о, пчелы родимой страны,  
Оружье и цепи готовить должны,  
Чтоб шершни без жала, презревши заботы,  
У вас отнимали добычу работы?  
У вас есть достаток, досуг и покой,  
Уют и слиянье с душой дорогой?  
Что ж вы покупаете этой ценою,  
Томленьем и страхом и мукой тройною?  
Хлеба вы взрастили,— другой их пожнет;  
Богатства нашли вы,— другой их возьмет;  
Вы платья соткали — кому? для чужого;  
Оружье сковали — для власти другого.  
Растите хлеба,— но не наглым глупцам;  
Ищите богатства,— не дерзким лжецам;  
И тките одежду,— но смерть паразиту,  
И куйте оружие — себе на защиту<sup>12</sup>.

Это прямо противоположно тому, что говорит Карено, взывающий не к народу, а к «террористу».

Шелли тоже умеет негодовать на свой народ. Он возмущается его недостатками. Но в чем он видит их? Не в том, что народ этот стремится к своему освобождению, а, наоборот, в том, что он слишком мало к нему стремится.

Ну, прячьтесь в подвалы, отверженный род,  
Вы строили замки, другой в них живет.  
Вы цепи трясете, что сами сковали,  
Дрожите пред силою вашей же стали<sup>13</sup>.

Это — чувства, прямо противоположные тем, которые вдохновляют трагикомического Карено. Правда, Шелли тоже был если не единственным, то во всяком случае редким исключением из общего правила. Романтики вообще были далеко не так народолюбивы, как он. Они тоже были идеологами буржуазии и нередко смотрели на народ как на «толпу», годную лишь для того, чтобы служить подножием для отдельных выдающихся личностей. Этого греха совсем не чужд, например, Байрон\*. Но и Байрон ненавидел деспотизм, и Байрон умел сочувствовать тогдашним освободительным движениям народов. Да что говорить о Байроне и о романтиках! Вспомните гордые и благородные слова, с которыми обращается Прометей к Зевсу у Гёте:

Ich dich ehren? Wofür?  
Hast du die Schmerzen gelindert  
Je des Beladenen?  
Hast du die Thränen gestillet  
Je des Geängsteten? \*\*

Здесь — даже у «олимпийца» Гёте! — мы опять видим чувства, прямо противоположные тем, которые характеризует собою настроение Карено. Если бы Карено, который, по замыслу Гамсуна, тоже должен изображать собою что-то вроде взбунтовавшегося титана, вздумал формулировать свое неудовольствие небом, то он, конечно, стал бы упрекать Зевса не в том, что тот равнодушен к страданиям людей, а только в том, что он слишком равнодушен к ним. Он нашел бы, что «отец богов и людей» недостаточно хорошо усвоил себе этику сильных, как понимает ее он, «кандидат философии» Ивар Карено.

Словом, тут перед нами целый переворот. Было бы в высшей степени важно для теории проследить, каким образом подготовлялся этот переворот в западноевропейских литературах. Я не имею никакой возможности братья здесь за это. Но мне хочется отметить, что кое-что — впрочем, очень и очень немного — уже сделано в этом направлении,

\* Манфред говорит охотнику, приотившему его в своей хижине: «Терпенье! — нет; не кровожадным птицам, — оно идет лишь вьючному скоту. Тверди о нем тебе подобной грязи; я не из вашей братьи».

\*\* [Мне тебя чтить? За что?

Боль улегчил ли когда

Ты страдальца болящего?

Слезы отер ли когда

Безутешно скорбящего?

(Перевод Вячеслава Иванова) 14].

преимущественно французами. К числу сочинений, заключающих в себе много таких данных, которые могли бы служить для характеристики интересующего нас здесь общественно-психологического процесса, следует отнести книгу Ренэ Кана «Du Sentiment de la solitude morale chez les romantiques et les parnassiens» (Paris 1904). Кана делает интересные указания насчет того, как постепенно изменялись во Франции черты дорогого романтикам байроновского типа («type bygonien»). Он говорит, что черты этого типа встречаются, между прочим, у Бодлера и у Флобера. «Последним выдающимся человеком байроновского типа был занимательный (amusant) Барбэ-д'Орвильи» (стр. 52).

Мне кажется, что это справедливо. Но вспомните, как относился «занимательный» Барбэ-д'Орвильи к освободительным идеям своего времени. В его характеристике поэта Лорана Пиша мы читаем: «Если бы он решился втоптать в грязь (fouler aux pieds) атеизм и демократию, эти два позорных пятна его мысли (ces deux déshonneurs de sa pensée)... он был бы, может быть, поэтом великим во всех отношениях, между тем как он остался только отрывком великого поэта»\*. Таких отзывов можно найти у него немало. Барбэ-д'Орвильи был решительным сторонником католицизма и столь же решительным противником демократии. Насколько мы имеем право судить по некоторым довольно неясным намекам, Гамсун делает своего Ивара Карено врагом не только католицизма, но и вообще христианства\*\*. С этой стороны Ивар Карено очень далек от «последнего выдающегося человека байроновского типа». Но он весьма близок к нему со стороны политики: мы хорошо знаем, как ненавидит Карено демократию. Тут он охотно подал бы руку Барбэ-д'Орвильи. А это значит, что одна из самых важных черт его характера роднит его с *выродившимся* «байроновским типом». Если отцом его был доктор Стокман, то между более отдаленными предками его, наивно, были байронисты.

Так обстоит дело с точки зрения *психологии*. А как обстоит оно с точки зрения *социологии*? Почему выродился

\* «Les Poètes», éd. 1889.

\*\* Он кричит Иервену, убедившись в его «измене»: «Поди и отдай свои деньги попам» (с. 87). Когда его жена с огорчением вспоминает, что он отнесся холодно к картине, которую она подарила ему в день его рождения, он спокойно возражает: «Но ведь это было изображение Христа, Элина» (с. 67). Бедная фру Карено убеждена, что «он, конечно, и в бога не верует» (с. 47).

«байроновский тип»? Почему «выдающиеся люди», ненавидевшие когда-то деспотизм и более или менее сочувствовавшие освободительным движениям народов, готовы рукоплескать теперь деспотам и топтать в грязь освободительные стремления рабочего класса? Оттого, что общественные отношения коренным образом изменились. Буржуазное общество переживает теперь совсем другую фазу своего развития. Оно было молодо, когда блистал настоящий (невыродившийся) «байроновский тип»\*. Оно клонится к упадку теперь, когда по-своему, подобно новому медному пятаку, блистает *ницшеанский* тип, одним из представителей которого является Ивар Карено.

Ничшеанцы считают себя непримиримыми врагами мещанства. А на самом деле они насквозь пропитаны его духом.

Мы уже видели, как отразилось свойственное им мещанство на творчестве Кнута Гамсуна: очень большой художник дошел до того, что созданный им тип производит трагикомическое впечатление, в то время когда, согласно намерению автора, он должен был бы поразить нас своим глубоким трагизмом. А это уже совсем плохо. Тут приходится признать, что антипролетарская тенденция современных «героических» мещан сильно вредит интересам искусства.

---

\* Недаром байроновский Лара, в сущности равнодушный к интересам своих ближних, становится во главе восстания против *феодалов*.